

Всероссийская олимпиада школьников по литературе

2024 – 2025 учебный год

Заключительный этап

Первый тур

10 класс

Выполните целостный анализ прозаического ИЛИ стихотворного произведения (ОДНОГО – на выбор).

Алексей Н. Толстой

(1883 – 1945)

Портрет

1

Я разбирал старую библиотеку в Остафьеве, родовом, теперь оскудевшем именье графов Остафьевых, последний потомок которых мотается ещё где-то по свету.

Среди исторических и масонских книг попалась мне тетрадь из голубоватой бумаги во всю величину листа. На заглавном листе было выведено: «Дерзание души, или Правдивый дневник...» Дальнейшее оказалось записками крепостного человека Ивана Вишнякова, посланного в Петербург преуспевать в художестве, ибо с малых лет он оказывал в этой области отменное дарование...

Срок петербургского учения положен был три года, в конце его Вишняков должен был написать портрет самого графа за глаза, по памяти...

«Сия задача, – пишет Вишняков, – коварна и хитра; господин желает знать, сколь благодетельный образ его отпечатан в моём сердце и какие чувства питает в себе раб, отошедший на мнимую и недолгосрочную свободу».

Денег на дорогу и ученье «выдано Вишнякову шестьдесят пять рублёв», коих хватило лишь на два месяца в Петербурге, где и начинается этот дневник.

Вначале Вишняков рассказывает, как поселился он на Грязной улице (ныне Николаевской), как познакомился на мосту с одним франтиком, показывавшим ему издали академию и затем ловко выманившим у него трёшницу, – последнее, что было в кармане... Как, дежуря у ворот академии, Вишняков увидел, наконец, ректора, быстро вышедшего из подъезда прямо в сани; Вишняков без шапки побежал за его санями, и уже посредине Невы ректор, отогнув воротник, покосился на бегущего; как тут же на льду принял он прошение и рисунки; как спустя неделю страшного ожидания Вишняков был зачислен в натуральный класс...

С Грязной Вишняков переезжает на Васильевский, к немцу Карлу Карловичу – подрядчику, и добрый немец учит скромного жильца писать вывески, получая с мясной

вывески послужившее моделью мяса, с зеленой – фрукты и овощи, – словом, платой служили изображаемые предметы.

В работе этой и в посещении натурального класса проходят три года. Дневник наполнен рассуждениями вроде: «Во сне мы видим формы и линии, а краски только чувствуем; на картине же, наоборот, видим краски, а формы и линии чувствуем; но между искусством и сновидениями несомненно существует связь...»

В конце третьего года Карл Карлович, посвящённый во всю жизнь Вишнякова, настаивает, чтобы жилец его начал, наконец, графский портрет.

Вишняков с неохотой берется за работу и, начиная после долгого перерыва вспоминать знакомый образ, чувствует себя вновь крепостным, рабом, человеко-животным...

Сама рука выводит на полотне крупное старческое лицо, крючковатый нос, отвислые щёки, морщины своеволия и гнева... Весь опыт художника и хладнокровие изменяют ему, Вишняков со страхом видит, как на образующемся, будто чудом, страшном лице все яснее выступают беспощадные выпуклые, в кровяных жилках, живые глаза...

И Вишняков заносит в дневник:

«Это не портрет, а чудовищная карикатура. Я не могу найти в нём ни одной благородной черты. Одно спасение – правдивый вопль души, быть может граф поймёт... Когда я уезжал, он раскрыл окно и крикнул: "Помни, на три года даю тебе свободу; коли употребишь её с толком – тогда посмотрю, подумаю... а без толку – пеняй на себя..." Зачем он дал мне эту надежду... Я скован и как в бреде...»

Отсюда привожу подлинные его записки, касающиеся неожиданной и роковой для него встречи.

2

«Карл Карлович зашел ко мне сообщить, что на Морской требуется вывеска в гастрономической лавке. Сказав, Карл Карлович затянулся из фарфоровой трубки, на височках его появились добрые морщинки, подмигнув одним глазом, он удалился на скрипучих, опрятно начищенных сапожках...

Добрейший, милейший Карл Карлович! Если бы я только не был так угнетён, чего бы только не сделал в благодарность за все твои заботы!

Я разложил на лавке горшки с красками, олифу и кисти и, поставив всё это на голову, поплёлся в город. Проходя по Николаевскому мосту, я замечтался, созерцая величие реки с опрокинутыми в ней дворцами, скользящими баркасами и парусными кораблями у гавани и, не заметив, свернул на набережную, где постовой загородил дорогу: «Сворачивай на

Конногвардейский, маляр». Восхищённый, я глядел на перспективу набережной, где, удаляясь, шёл какой-то сутулый человек в цилиндре и поношенной шинели.

На Морской я сразу нашёл лавку и окликнул хозяина, который повёл меня к стойке, предложив, довольно грубовато, выбрать фрукты для натюрморта, причём подсовывал попорченные, но я выбрал шесть французских яблок, шесть груш, ананас, три кисти винограда и лимоны – все без пятнышка, уверив, что могу рисовать только с доброй природы, и, захватив всё это, ушёл на двор, где была уже приготовлена вывеска.

Двор в этом доме проходной; под воротами кричат татары; принимался играть шарманщик, наводя тоску. С теневой стороны в раскрытых окнах лежали, переговариваясь, квартиранты, но я увлёкся работой, думая лишь об одном: найти в стоящей передо мной горке фруктов нетленную красоту, – она и в сладком соке яблока, и в запахе ананаса, и в линиях женского тела, и в мечте художника – одна. Вдруг я почувствовал, что за спиной остановился кто-то; я оглянулся и узнал того господина с набережной. Он был тёмно-русый, сутулый, в складках его капюшона забились пыль. Правую руку с вытянутым пальцем он поднял, словно призывая ко вниманию, чёрные, как маслины, продолговатые глаза его так и горели от удовольствия.

– Отлично, – сказал он глуховатым голосом, – одна природа истинна, и, боже мой, как она хороша...

Я покраснел от удовольствия; незнакомец поднялся на цыпочки, отступил, слегка нагнув голову и внимательно осматривая меня.

– Вы ученик академии? – спросил он.

– Точно так, – ответил я, – а это лишь заработок; за вывеску я получу всю горку фруктов, которые и продам.

Незнакомец щёлкнул языком;

– Вот, вот, это мне и нужно. Мне хочется зайти к вам, посмотреть работы...

Я живо поклонился и поблагодарил, прося не побрезговать моей скромной комнатой... Незнакомец засмеялся и отошёл, крича:

– Так я приду.

К вечеру я окончил вывеску, отнёс фрукты знакомой булочнице, взял у неё денег, купил свечей, ситнику и в сумерках прибежал домой. Из комнаты пришлось вымести пропасть мусору и вытереть повсюду пыль; из-под дивана я вынул этюды, положил их на край стола и к свече поближе пододвинул мольберт с портретом его сиятельства... Гость так и не пришёл, и я весь вечер проглядел на портрет.

Ах, пусть он знает, что я не скрыл от него ни единой мысли. Какими же, как не ужасными, должны быть его глаза. Я помню, когда в гневе они останавливались на

провинившемся, – нижнее веко, дрогнув, забежало на зрачок, верхнее покрывалось бровью, поджимались углы у висков. Однажды провинилась моя мать; он так поглядел на неё, что она, крича, упала на землю. Знаю – что бы я ни сделал, куда бы ни скрылся, глаза всюду отыщут и покарают... Я не могу изобразить их спокойными... Они, как живые, сами раскрылись на горе мне.

Я заснул головой на тетради. Свеча нагорела грибом... В полночь я проснулся, снял со свечи, задул её и лёг, зная, что до утра будут мучить сны. Ведь сколько угодно я могу видеть себя во сне свободным, видеть себя славным другом самого Иванова... Тем хуже будет пробуждение...

Карл Карлович разбудил меня рано и позвал пить кофе. Я рассказал о вечернем незнакомце, и добрый немец посоветовал не ходить пока в академию, а писать портрет, чтобы показать гостю хорошую работу, – товар лицом. Я так и сделал. Незнакомец тогда восхищался моим натюрмортом, и я вознамерился вложить яблоко в руку графа, для чего надо было приподнять его руку, согнув в локте. Но скоро весёлое мое настроение пропало, когда я увидел, что рука графа не хочет подниматься и брать яблоко... Проработав до вечера, я всё вновь написанное снял ножом и, уже при свече, поставил руки на место... И мне показалось, что упрямые руки графа будто вцепились в раму...

Гость всё же пришёл однажды около полудня. Приветливо поздоровавшись, сел на диван и начал с любопытством оглядывать комнату; когда он заметил портрет, лицо его выразило такое удивление, даже испуг, что я спросил в ту же минуту:

– Ужели так плохо?

– Удивил, батенька, право удивил, – проговорил гость, – а ведь он живой; конечно, эти глаза видят и следят. Кто он?.. Почему вы его пишете? Вы боитесь его?..

Гость задал пятьдесят вопросов, и я поспешил рассказать свою жизнь и прочёл отрывки из дневника. Когда окончилось чтение, глаза гостя были обращены к окну, словно не видя ни окна, ни комнаты, ни меня. На лукавых губах его играла усмешка... Мы долго сидели молча. Наконец он поднялся, рассеянно пожал руку и вышел, сказав уже на пороге:

– Я ещё приду.

...Портрет следит за мной, глаза его всегда находят мои зрачки, куда бы я ни отошёл. При свече они так пристальны, что я повернул портрет к стене, но тотчас поставил обратно, думая, что он обидится. Прошла неделя. Я не могу работать, он мучит меня даже ночью. Вчера, закрывшись одеялом, я долго лежал без сна... Мне казалось, что он высунется из рамы.

Я решил уничтожить его: всё равно так жить нельзя... Я взял нож у Карла Карловича, на цыпочках вошёл к себе и, стоя около портрета, попробовал на пальце лезвие... Ножик

упал, разрезав мне сапог... Я не могу, я уверен – он узнает, что я покушался на него, как вор, как убийца...

Вчера около полуночи я проснулся. Сон слетел с меня, сердце стучало, поджилки тряслись, как мышьяк... Он вылез из рамы и, огибая стол, подходил ко мне. Когда он сел на диван, я живо подобрал ноги...

– Где спички? – спросил он. – Я набил себе шишку.

Я живо соскочил и взял свет, – на диване сидел мой гость в пыльной шинели, в руке он держал свёрток.

– Он всё ещё здесь? – спросил гость, глядя в тёмный угол на портрет.

Я поспешил выразить живейшую радость его приходу, но гость перебил меня:

– Вы послушайте первую часть повести, она ещё переделается много раз... – Насупившись, он поглядел на меня, пододвинул подсвечник, кашлянул и прочёл глухим голосом: – «Портрет»... «Портрет», – повторил он, чудно усмехаясь.

«Нигде столько не останавливалось народа, как перед картинною лавкою на Щукином дворе. Для меня до сих пор загадка – кто поставляет сюда свои произведения, какие люди, какую ценою».

Я слушал повесть стоя и глядел на гостя, на длинный, почти в половину лица его нос, тень от которого падала до конца острого подбородка, а по сторонам усмехались приподнятые углы губ; по мере чтения прядь напомаженных волос сползла на глаза, и голос его стал ясный и выразительный... А потом я начал понимать и содержание повести...

Гость кончил, когда свеча догорела, свернул медленно рукопись.

– Вот, – сказал он и, помолчав, спросил сердито: – Нравится? – Я прижал руки к груди, глаза мои были полны слёз... – Ну то-то, – уже мягко проворчал он, – видели, какие чудеса бывают...

И, уже уходя, надев цилиндр, он остановился перед портретом, рукопись торчала у него из кармана сюртука... И вдруг, глядя на его длинноносый профиль, на цилиндр и оттопыренный сзади карман, я вспомнил всем известную карикатуру и, страшно испугавшись, понял – кто мой гость...

...Сейчас посыльный принёс письмо от графа. Граф прибыл на днях и требует к себе меня вместе с портретом и дневником».

Здесь рукопись кончается словом «Аминь», а дальше следует приписка:

«Граф потребовал заполнить последнюю страницу. Я никогда не забуду, никогда не пойму, как всё случилось... Я пришёл к его сиятельству на Сергиевскую к восьми поутру и до двенадцати ждал на кухне. Лакеи, заходя, заговаривали со мной и на мои ответы покатывались со смеха... Наконец один из них вбежал, запыхавшись, и потребовал к графу

дневник и портрет, а мне приказал ждать... Я сидел у окна и ожидал, что вот услышу громовой голос графа, тяжёлые, как смерть, его шаги... К вечеру я очень ослабел и попросил выпить... Из лакейских разговоров узнал, что граф уехал в театр. Прислуга легла спать, оставив лампаду, а я продолжал сидеть, уж не боясь, потому что стало всё равно... На колени мне прыгнул кот, я погладил его, он ткнулся мне в шею и обнял лапами...

Тогда я стал плакать про себя... Наконец в доме вновь захлопали двери, – граф вернулся и лёг спать...

Наутро тот же лакей, что относил портрет, опять запыхавшись, вбежал и крикнул:

– Вишняков, к графу...

Граф в нижнем белье стоял у печки, грея зад... Рассматривая с большим любопытством, он подпустил меня на пять шагов и сказал басом:

– Хорош! – Я молчал, опустив голову. – Изуродовал меня навек, злодеем выставил для потомства, – продолжал граф. – Вчера в театре Николай Васильевич Гоголь на меня пальцем указал. А ты понимаешь, что даже государю известно, чей портрет описан в повести у Николая Васильевича. А?.. По-твоему, мне теперь нужно глаза себе выколоть. А? – грохнул граф... Наступило молчание. Затем лиловые губы его брезгливо усмехнулись, и я увидел, как он медленно потащил из-за спины мою тетрадь. – Ступай и допиши, – сказал он. – Потом зайдёшь в контору, получишь вольную, а тетрадь оставишь мне...

Ноги мои подкосились, я подошёл к графу и поцеловал ему руку».

1912

Примечания:

Ситник – ситный хлеб. Выпекался из отборной (просеянной через сито) пшеничной муки.

Иван Елагин

(1918 – 1987)

Спрашивал ответа

У лингвистов,

Как перевести

С языка ветра

На язык листьев?

Ветер только-только

По веткам

Проскакивает.

А листья тонко-тонко

От ветра

Позвякивают.

Верзила-ветер,

Поди спроси его,

О чём он по-петербургски грассировал,

А листьям казалось,

Что ветер с ними вальсировал.

Как перевести

С языка звезды расплёсканной

На язык воды распластанной?

Смотрит звезда в водоём,

Влюблённые бродят вдвоём.

Каждый говорит о своём.

Каждый говорит о своём.

Как перевести,

Что мне говорят сады –

На язык моей ночной беды?

Как перевести, мой друг,

На язык вот этих строк

Веток стук,

Листьев говорок?

Что там – смех?

Или там плач?

Я, как на грех,

Плохой толмач.

Лужица сушится
У фонаря.
Над лужицей кружатся
Два воробья.

Может быть,
Говорит
Воробей воробью:
«Я тебя перепью, перепью!»

А может,
Чирикают два воробья,
Ни о чём по сути не говоря.

Найдите-ка переводчика
Для этого разговорчика.

Вот сижу со всякими
Зеваками.
Приникаю к лунному лучу.
Даже с музой
Объясняюсь знаками,
Сам не знаю,
Что я бормочу.

1963–1967